

ЧУЖАЯ КРОВЬ

ЭДУАРД СЕРОУСОВ



ХАРД-ФАЙНШЕН

Эдуард Сероусов

Чужая кровь

«Автор»

2026

Сероусов Э.

Чужая кровь / Э. Сероусов — «Автор», 2026

Полгода пути с ледяного спутника Сатурна — и первый в истории образец чужой жизни уже на карантинной станции у чёрного песка северного острова. Командир Майя Соколова уверена: то, что светится в чаше, мёртво. Её ученик Лев доверяет ей на слово. Её наставница Ирина Вейс, всю жизнь стерёгшая планетарные стены, требует не привозить. Так рождается катастрофа, которую нельзя было даже назвать заражением: чужой разум не убивает, а ласково переписывает всё живое на свой единственный стандарт. И остановить его можно лишь ценой того, кто тебе дороже всего. Твёрдая научная фантастика о цене гордыни, первом контакте без разговора и границах человеческого.

© Сероусов Э., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Часть первая. Первый свет	5
Часть вторая. Разговор	10
Конец ознакомительного фрагмента.	13

Эдуард Сероусов

Чужая кровь

Часть первая. Первый свет

За всё время, что жила Земля, этого не видел никто — и первыми оказались двое.

Полгода они возвращались, и полгода корабль пах людьми, металлом и рециклированной водой, и к концу пути Майя Соколова знала запах каждого члена команды лучше, чем их лица, потому что лица примелькались, а тело всё ещё вело учёт. Она устала так, как устают только на длинных перегонах, — усталостью, которая живёт не в мышцах, а под ними, в костях, и не проходит от сна. И всё-таки, когда она стояла вплотную к боксу, в тесном отсеке карантина, всё это отступало, потому что за тремя прозрачными переборками тлел первый свет чужого мира.

Свет был слабый. Перламутровая муть, какую даёт молоко, если посветить в него сбоку, — и всё-таки чужой до последнего зерна. Его не зажигала ни одна лампа корабля. Он горел сам, ровно и терпеливо, как горит то, что училось терпению в темноте подо льдом четыре миллиарда лет. Майя смотрела на него и ловила себя на нелепом: ей хотелось согреть его. Хотелось положить ладони на стекло, как кладут на бок замёрзшей птицы. Она знала, что стекло холодное, что за ним минус сто с лишним, что согреть — значит убить исследование, а может, и разбудить, если Ирина права, — и всё равно ладони тянулись.

— Смотри, — сказала она. — Смотри и запоминай. После нас никто уже не увидит это в первый раз.

Лев стоял рядом, плечом почти к её плечу, и на образец не смотрел. Он смотрел в планшет.

— Тут написано, — сказал он тихо, — что при любом признаке активности образец возвращается на орбиту. Не вскрывается. Не согревается. Возвращается. — Он поднял глаза, и в них было то выражение, которое она за три года научилась читать раньше слов: мальчик собирался поступить правильно и боялся, что правильное и нужное — не одно и то же. — Майя. Тут прямо написано.

Три года назад он пришёл в её команду самым младшим, самым дотошным, единственным, кто читал протоколы на ночь, как другие читают романы. Она сначала посмеивалась. Потом привыкла. Потом однажды, на тренажёре, он поймал ошибку, которую пропустили трое старших, и она перестала смеяться, и что-то между ними сместилось, тихо, без слов, и осталось смещённым. Он был осторожен во всём, кроме одного — кроме неё; ей он верил без осторожности, и это была единственная его небрежность, и она это знала, и она этим пользовалась, не признаваясь себе.

За стеклом, в чаше из чужого льда, свет качнулся.

Не разгорелся ярче — качнулся, как качается вода, если провести пальцем по краю сосуда. Датчик на панели моргнул янтарём: микрофлуктуация, дельта три сотых. Бокс за ночь согрелся на полградуса — гелий в контуре просел, инженеры уже писали заявку. Тепловой градиент по стеклу, ничего больше. Майя видела такое сто раз на приборах, которые тащат с собой полгода и которые к концу пути начинают врать от усталости не хуже людей.

— Термошум, — сказала она. — Стекло тёплое с одной стороны, холодное с другой. Прибор ловит собственную дрожь. — Она положила ладонь Льву на плечо, туда, где под тканью комбинезона он всегда держал слишком много напряжения. — Оно мёртвое, Лёва. Оно замёрзло раньше, чем на Земле завелись бактерии, и с тех пор не шевельнулось. Мы не будим мёртвых. Мы везём их домой, чтобы понять, как они жили.

Он смотрел на янтарный огонёк, пока тот не погас сам собой. Датчик вернулся в зелёное. В мальчишке что-то уступало — не разум, разум оставался при своём, а то, что глубже разума и старше его. Он верил ей не потому, что она была права. Он верил ей потому, что любил, и в двадцать шесть лет ещё не понимал, что это разные вещи.

— Доверься мне, — сказала она.

Три слова. Он кивнул — не сразу, но кивнул, и напряжение под её ладонью нехотя отпустило, и он убрал планшет, и предупреждение, которое почти произнёс вслух, осталось непроизнесённым, ушло обратно в него, туда, где живут все несказанные вещи и ждут своего часа.

Позже — намного позже, у другого стекла, в другом свете — она будет вспоминать этот кивок и понимать, что убила его именно здесь. Не в лаборатории. Не при прорыве. Здесь, в отсеке карантина, за полтора миллиарда километров от дома, тремя словами, которым он не умел не поверить.

Но пока была только тишина, и низкий гул систем жизнеобеспечения, и перламутровое сияние в чаше, и двое людей, стоявших ближе к чужой жизни, чем стоял кто-либо до них. Возвышеннейшая минута за всю историю вида. И в самой её сердцевине — мальчик, который хотел сказать «нет», и женщина, которая не дала.

— Мы не одни, — сказала Майя. Она сказала это себе, но вслух, потому что вслух звучало как правда, а про себя — как желание. — Ты понимаешь, Лёва? Впервые за всё время. Не одни.

Всю жизнь она несла это в себе, как несут жажду. Не славу — она себе вралась, если называла это славой, — а именно вот это: доказать, что чёрное небо не пустое, что мы не единственная свеча в тёмном доме. Ради этого она пошла в программу, ради этого выучилась командовать, ради этого полгода дышала чужим потом в железной коробке. И вот оно, за стеклом. И оно горело.

Он взял её за руку. Ладонь у неё была тёплая, только поперёк — старым белёсым шрамом, следом первой миссии, — кожа не грелась, оставалась холодной чертой. Он всегда трогал этот шрам, будто хотел его согреть. Она сжала его пальцы и не отпускала долго, и свет за стеклом горел ровно, и ничего, ничего не предвещало.

Комиссия собралась не в зале, а в тесной штабной каюте орбитального карантина, куда корабль пришвартовался наутро, — четверо взрослых людей едва расходились локтями, и это Майя запомнила отчётливее слов: как им было тесно решать судьбу планеты.

Аренс говорил первым — директор программы говорил всегда первым, спокойно, ровно, как человек, которому некуда торопиться, потому что будущее и так на его стороне.

— Образец инертен, — сказал он. — Термическая карта — плоская. Биомаркеры — ниже порога. Химия — застывшая. По всем протоколам это мёртвая порода, а мёртвая порода изучается на Земле, а не на орбите, где у нас нет ни рук, ни приборов, ни времени. — Он не повышал голоса. Он никогда не повышал голоса; в этом была его сила и, как Майя поймёт слишком поздно, его слепота. — Мы двести лет мечтали привезти домой первую жизнь. Она в соседней каюте. И мы всерьёз обсуждаем, не оставить ли её мёрзнуть на орбите из осторожности?

— Из признания, — сказала Ирина.

Она сидела прямо, в перчатках, хотя в каюте было тепло, — в тонких серых перчатках планетарной защиты, которые не снимала никогда, даже за столом, даже за едой. Пока Аренс говорил, она дважды провела большим пальцем по краю манжеты, проверяя уплотнение, — жест, которого сама не замечала, машинальный, как чужое дыхание.

— Карантин — это признание, — сказала она, — что мы можем не понять вовремя. Не отказ понимать. Признание, что понимание отстаёт от опасности, а разрыв между ними — это трупы. Всегда. В любой эпидемии, какую вы захотите вспомнить, сначала были те, кто говорил «мы разберёмся», а потом были могилы тех, при ком разбирались. — Она посмотрела на Майю, и в этом взгляде было что-то, чему у Майи не было названия, — старое, оставлен-

ное, засохшее. — В поле нельзя исключить крипокой. Плоская термокарта означает, что оно холодное. Только это. Холодное — не значит мёртвое. Мы не знаем этой химии. Мы не знаем, чем для неё оказывается «мёртвое». Изучайте на орбите или не привозите вовсе.

Двенадцать лет назад эта женщина учила Майю всему. Как читать риск, как не влюбляться в собственную гипотезу, как отличать смелость от гордыни — Ирина повторяла: «Смелость платит собой, гордыня — другими». А потом была та история — глупая, полевая, на карантинной практике: заражённая проба, которую Ирина велела уничтожить, а Майя, молодая, уверенная, спасла через голову наставницы, потому что проба была ценной, потому что Майя видела в ней открытие. И обошлось. Пробу изучили. Никто не пострадал. Но между ними что-то надломилось в тот день и больше не срослось: Ирина не простила не риск — Ирина не простила, что риск оправдался, потому что оправдавшийся риск не учит, а развращает. С тех пор они не работали вместе. С тех пор Ирина стерегла стены, а Майя рвалась за горизонт, и вот теперь горизонт и стена стояли в одной тесной каюте, и между ними — чаша с чужим светом.

— А ты что скажешь? — Аренс повернулся к Майе. — Ты была там. Ты держала его в манипуляторе. Мёртвое?

И вот здесь всё решилось.

Не в протоколе. Не в термокарте. В том, что Майя Соколова была там, а они — нет, и её слово весило больше их страхов, потому что за её словом стоял лёд Энцелада, чёрная вода под ним, полгода пути и авторитет человека, который вернулся оттуда, откуда не возвращался никто. Она это знала. Она чувствовала, как её слово ложится на весы, — и в эту секунду ей вспомнился янтарный огонёк, дельта три сотых, качнувшийся свет. Термошум. Прибор устал. Она могла сказать про огонёк. Одно предложение — и Ирина вцепилась бы в него зубами, и образец остался бы на орбите, и всё пошло бы иначе.

Она не сказала.

Она даже не решала не говорить — вот что она поймёт потом, вот что не даст ей покоя. Не было выбора, взвешенного и сделанного. Просто огонёк был мелочью, а она хотела домой, и хотела победы, и была уверена, так глубоко и спокойно уверена, что уверенность не оставила огоньку места. Гордыня не кричит. Гордыня — это тишина там, где должен быть вопрос.

— Мёртвое, — сказала Майя. — Я видела мёртвое своими глазами. Мы теряем не время — мы теряем открытие. — Она выдержала взгляд Ирины и не отвела глаз. — Везём домой.

Ирина не стала спорить. Это Майя запомнила тоже. Ирина не повысила голоса, не хлопнула ладонью по столу — она сняла очки, потёрла переносицу пальцем в серой перчатке и стала вдруг очень старой и очень одинокой, как человек, который в третий раз за жизнь произносит правильные слова в пустоту и уже знает, чем это кончится.

— Ты опять через мою голову, — сказала она тихо, не Аренсу, только Майе. — Как тогда. И тогда обошлось. — Она надела очки. — Ты запомнила не урок, Майя. Ты запомнила, что обошлось.

Решение записали. Спуск назначили на утро. И, выходя из тесной каюты в тесный коридор, Майя чувствовала не торжество, а лёгкий холодок под грудиной — тот самый, который потом назовёт предчувствием, а тогда назвала усталостью и приказала себе спать.

Земля встретила их грубо, как встречает всех: перегрузкой входа, тряской, ремнями, врезавшимися в плечи, багровым огнём за иллюминатором, — а когда огонь опал и модуль выровнялся, внизу открылся чёрный берег.

Остров лежал на краю северного океана, вулканический, без деревьев, — чёрный песок, чёрные скалы, и между ними, как порезы, фьорды, налитые свинцовой водой. Здесь построили береговую станцию: приземистые корпуса высокого контура, вросшие в мыс, обращённые слепыми боками к ветру. Место выбрали за пустоту. Если что-то пойдёт не так — а Майя ловила

себя на этой мысли и гнала её, — вокруг на сто километров только камень и море. Пустота как страховка. Пустота как признание, что страховка может понадобиться.

Первую ночь на острове они спали как убитые — впервые за полгода в настоящей темноте, под настоящим небом, пусть и затянутым низкой северной облачностью. Майя проснулась от тишины: не стало гула, к которому тело привыкло за перегон, и эта тишина будила надёжнее любого шума. Она вышла на галерею над спящей станцией. Внизу, за смотровым стеклом, ровно горел перламутр, единственный свет в тёмном корпусе, и было в этом ровном горении что-то, от чего не спалось.

Лев нашёл её там под утро. Принёс два стакана чего-то горячего, встал рядом, и они молчали, глядя вниз, и молчание было хорошее, домашнее, заслуженное. Он говорил что-то про свои среды, про то, как завтра запустит полный цикл анализа, планировал вслух, спокойно, по-мальчишески увлечённо, а она слушала не слова, а голос, и думала — вот теперь можно, вот теперь мы дома, вот теперь всё будет так, как я обещала. Она обещала ему многое за эти три года. Экспедицию. Открытие. Возвращение. Всё сбылось. Она стояла рядом с человеком, которому все её обещания сбылись, и не знала, что осталось последнее, невысказанное, и что оно тоже сбудется.

— Ты был прав тогда, — сказала она вдруг, сама не зная зачем. — На станции. Ты хотел вернуть его на орбиту.

Он пожал плечами, улыбнулся краем рта.

— Ты сказала — доверься. Я доверился. — Он отпил из стакана. — И вот мы дома. Значит, ты была права.

Она не ответила. Внизу горел ровный чужой свет, и не было в нём ни капли торжества, только терпение, и Майя смотрела на этот свет и впервые за все дни позволила холодку под грудиной побыть тем, чем он был, — не усталостью.

Образец водворяли до ночи, и это была долгая, медленная, выверенная работа, за которой Майя следила из галереи над лабораторией высокого контура. Внизу, за толстым смотровым стеклом, манипуляторы принимали чашу из транспортной капсулы и опускали в новый бокс — глубже прежнего, надёжнее, окружённый тремя рубежами защиты и питательными средами, на которых его будут изучать. Каждое движение проверялось дважды. Каждый шаг подтверждался голосом. Люди в белом двигались медленно, как под водой, и говорили ровно, короткими фразами протокола, и в этой холодной, отточенной осторожности было что-то почти успокаивающее — будто сама тщательность процедуры доказывала, что всё под контролем.

Пол галереи под ногами едва заметно дрожал — насосы, вентиляция, кровь станции.

— Красиво, — сказал Лев. Он поднялся к ней, встал рядом, и на этот раз тоже смотрел вниз, на свет. Перламутровое сияние в новой чаше горело так же ровно. — Странно думать, что это самая опасная вещь на планете и одновременно самая беззащитная. Одна чаша. Три стекла. И весь мир снаружи.

— Оно мёртвое, — сказала Майя, но сказала по привычке, автоматически, и услышала в собственном голосе трещинку, и услышала, что он тоже её услышал.

Он не ответил. Он смотрел вниз, и она смотрела на него сбоку — на линию скулы, на выбившуюся прядь, на то, как он чуть подаётся вперёд, к стеклу, к свету, — и ей вдруг захотелось увести его отсюда, вниз, к чёрному песку, к морю, куда угодно, где нет этого ровного терпеливого сияния. Захотелось и прошло, как проходят все запоздалые предчувствия, не успев стать решением.

Внизу, у бокса, техник склонился над панелью анализа сред. Что-то на панели ему не понравилось. Он позвал второго. Они стояли, глядя в экран, где культура — обычная земная культура, посеянная в чашке рядом с образцом для контроля, — вела себя не так, как ей полагалось. Майя не слышала слов сквозь стекло. Она видела только, как две головы в белом скло-

няются ближе, и как один поднимает лицо к галерее, ища глазами старших, и как в этом лице — обычном, усталом, человеческом лице — проступает то, чего ещё нет у него в словах.

За стеклом, в контрольной чашке, ровным перламутром начинала светиться земная жизнь.

Часть вторая. Разговор

Оно не набросилось. Это первым делом сбивало с толку — и Майя, спустившись в предбанник лаборатории и слушая доклад, поймала себя на том, что ждёт нападения, как ждут его от зверя, и не может понять, что происходит, потому что зверь не нападал. Зверь разговаривал.

— Оно не растёт, — говорил старший биолог, водя пальцем по кривым на экране. Голос у него был ровный, но пальцы подрагивали. — Понимаете? Не размножается, не жрёт, не рвёт мембраны. Оно переписывает. — Он вывел две картинки рядом: земную культуру вчера и земную культуру сейчас. Вчера — пёстрая мешанина, десятки штаммов, обычный живой хаос. Сейчас — ровное поле, однородное, гладкое, светящееся тем самым перламутром. — За ночь вся колония стала... одинаковой. Как будто кто-то раздал им всем один и тот же учебник и велел жить по нему. Разнообразие схлопнулось. Осталась одна культура. Его культура.

— Заражение, — сказал кто-то. — Контаминация через среду.

— Это не заражение. — Биолог покачал головой, и в голосе его была тихая оторопь человека, который смотрит на данные и не хочет им верить. — Заражение — это война. Одно ест другое, побеждает, размножается. Тут никто никого не ест. Тут все... согласились. Оно не убивает клетки. Оно их переубеждает. Меняет им химию, обмен, сигналку — всё переводит на свой стандарт, и клетка живёт дальше, живёхонька, просто она теперь не она. Она — часть его.

Майя смотрела на ровное светящееся поле там, где вчера кипела жизнь, и холодок под грудиной, тот самый, орбитальный, разворачивался медленно и уверенно, занимая всё внутри.

— И оно координируется, — добавил биолог тише. — Химическими сигналами. Как кворум у бактерий, только... умнее. Намного. Оно ведёт себя как одно. Не колония. Одно существо, размазанное по среде, и оно чувствует себя всё сразу.

Кто-то из младших спросил тихо, можно ли с ним... говорить. Договориться. Раз оно разум. Биолог посмотрел на него почти с жалостью.

— С кем? — сказал он. — Оно не знает, что мы отдельные. Для него нет «нас» и «его» — есть только то, что уже согласовано, и то, что ещё нет. Мы для него не собеседники. Мы — несогласованное. — Он снова повернулся к экрану, к ровному светящемуся полю. — Оно не завоёвывает. Оно даже не знает слова «завоевать». Оно просто наводит порядок. Приводит пёстрое к одному. И делает это... — он поискал слово, — ...ласково. Клеткам не больно. Им хорошо. В этом всё и дело.

Майя смотрела на гладкий перламутр и понимала, что смотрит на будущее — если его не остановить, будущее выглядит именно так: ровно, тихо, одинаково, красиво и неправильно. Всю жизнь она мечтала встретить чужой разум и воображала разговор — вопросы, ответы, мост через бездну. А встретила то, что не спорит и не отвечает, потому что не видит, с кем. Первый контакт оказался не разговором. Он оказался несовместимостью, которая не воюет, а просто вбирает.

— Оно активно, — сказала Майя.

Слова вышли ровными, командирскими, и никто не услышал, как под ними у неё осыпается почва. Мёртвое. Я видела мёртвое своими глазами. Она сказала это вчера, в тесной каюте, и её словом решили всё, и вот её слово лежало теперь на этом гладком светящемся поле, разоблачённое, и на неё никто не смотрел так, но она смотрела на себя сама, и этого хватало.

— Признать образец активным, — сказала она. — Полный протокол.

Полный протокол означал герметизацию внутреннего контура, отзыв людей, машинную работу вместо ручной. Его запустили. И в первые часы казалось, что этого хватит.

Идею подал инженер контура: если оно координируется химией — а всё говорило, что химией, ровный сигнал, ровный отклик, — то химией его можно и заглушить. За несколько

часов синтезировали супрессор, широкополосный, глушащий сигнальные молекулы, — то, чем в принципе можно разорвать координацию любой известной биоплёнки. Подали в бокс через автоматические форсунки.

Майя стояла у монитора и смотрела, как облачко супрессора расходится в среде. Ждала, что свет дрогнет.

Свет не дрогнул.

— Ещё, — сказал инженер. Форсунки зашипели снова. Концентрация поднялась втрое, вчетверо — доза, которая размела бы любую бактериальную сигналку на Земле, вышибла бы координацию у любой плёнки, какую он знал. Ровный перламутр за стеклом не колыхнулся. Датчики показывали, что супрессор есть, что его много, что он всюду в среде, — а сеть его попросту не замечала. Обтекала. Как обтекает вода камень: камень есть, вода про него знает, но разговор воды идёт мимо камня, и камню в этом разговоре нет места.

— Оно нас не слышит, — сказал инженер медленно. Он ещё раз проверил подачу, будто дело было в трубах. — Мы кричим ему прямо в ухо, и оно нас не слышит. Мы даём ему химию — а оно её не считает химией. Как будто мы не то. Как будто мы шум.

— Машина — шум, — сказал старший биолог. Он произнёс это тихо, себе, но все услышали. — Мы травим его форсунками. Форсунка для него — не собеседник. Мы подаём супрессор в среду, но не в него, не в узел, не туда, где он сам себя слушает. Оно не разговаривает с трубами. Оно вообще не знает, что трубы бывают живыми.

И в эту секунду — Майя потом восстанавливала последовательность до минуты, потому что от этой минуты зависело всё, — в предбанник вошёл лаборант, Кемпе, немолодой, из старой команды Аренса, и по дороге к своему месту прошёл слишком близко к разгерметизированному переходному шлюзу, где меняли фильтр. Ничего страшного. Секундная небрежность в смене, каких за день десятки. Он даже не остановился.

За стеклом свет дрогнул.

Впервые за все часы — свет качнулся, потянулся, чуть-чуть, едва заметно, но безошибочно, в ту сторону, где за переборкой прошёл человек. Не туда, где стояли форсунки, полные супрессора. Туда, где прошёл живой.

Все в предбаннике замерли. Инженер медленно повернул голову от своей панели к шлюзу, к Кемпе. И Кемпе замер тоже — он ещё ничего не понял, но по тому, как на него смотрели, начал понимать, — и поднёс руку к лицу, и на тыльной стороне кисти, у большого пальца, там, где кожа тоньше, проступало, медленно, ровно, перламутровое сияние.

— Оно услышало меня, — сказал Кемпе. Голос у него был спокойный. Это Майя запомнила навсегда — какой спокойный. — Оно услышало меня, а машину — нет.

Его увели в изолятор. Он шёл сам, не сопротивляясь, оглядываясь на бокс через плечо, и в лице его не было ни ужаса, ни боли — только удивление, тихое, детское, будто с ним заговорили на языке, которого он не знал, что понимает. Врачи в изоляторе включают все приборы, испробуют всё, что знает медицина, и ничего не найдут, кроме того, что человек Кемпе здоров, спокоен и с каждым часом всё меньше Кемпе.

— Оно слышит только живых, — сказала Майя. Слова падали в тишину, как камни в колодец. — Только участника разговора. Машину — нет. Только того, кто внутри. — Она смотрела на бокс, и мысль, ещё безымянная, ещё без формы, уже шевельнулась на дне: если заглушить его может только живой изнутри, то заглушить его — значит потерять того, кто заглушит. Мысль была настолько чудовищна, что Майя её не додумала. Отложила. На потом.

Никто не ответил. Внизу, за тремя стёклами, ровный свет уже успокоился и горел, как горел, — терпеливо, четыре миллиарда лет терпения, — и ждал, когда с ним заговорят снова.

Аренс прилетел к ночи и первым делом достал камеру.

Старую, мгновенную, с плёнкой, — он снимал ею всё важное в своей жизни, говорили, что у него дома целые стены в этих квадратных карточках, — и теперь он стоял у смотрового стекла, поднимал камеру и щёлкал, и аппарат выплёвывал белый квадрат, и Аренс обмахивал его, ждал, разглядывал проступающее сияние с выражением, которое Майя видела у людей в церквях.

— Вы понимаете, что мы видим? — сказал он, не оборачиваясь. — Не катастрофу. Открытие. Величайшее в истории. Первая жизнь — и она не мертва, она даже не спит по-настоящему, она думает. Единый разум. Мы двести лет спрашивали, одни ли мы. Вот ответ, за стеклом, и он говорит с нами. — Щёлк. Белый квадрат лёг в его ладонь. — А вы хотите его сжечь.

— Я хочу его остановить, — сказала Майя. — Кемпе в изоляторе.

— Кемпе не страдает. — Аренс наконец обернулся, и лицо у него было доброе, разумное, страшное именно своей разумностью. — Я был у него пол часа назад. Он спокоен. Ему хорошо. Он говорит, что впервые за много лет ему не тревожно. Ни боли. Ни страха. Он не мучается, Соколова, — он умиротворён. — Директор помолчал, давая слову осесть. — Я не защищаю беду. Я прошу не путать наш страх с вредом. Мы боимся — значит, вредно; так рассуждает толпа, и так рождается паника, а паника убьёт этот образец быстрее, чем он — нас. И если однажды вы будете стоять над чем-то, что можно только заглушить или сберечь, я хочу, чтобы вы вспомнили лицо Кемпе. Оно спокойное. Спросите себя тогда честно: то, что не мучается, — это точно смерть? Или это просто не мы, и мы боимся всего, что не мы?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.